

Григорий Померанц

Становление личности сквозь террор и войну

Я был самым маленьким и слабым в классе. Зная свои возможности, я избегал уличных столкновений, но это не всегда удавалось. Огольцы из пролетарских трущоб в соседнем Бутиковском переулке терроризировали меня. Только в середине тридцатых годов, когда террором занялось государство и стали хватать студентов, – я принял вызов и бросил лозунг: «лучше три года сидеть, чем всю жизнь дрожать».

Три года давали без суда, решением Особого совещания. В лагерях шутили: «За что сидишь?» «Ни за что». «Врешь, ни за что дают три года, а у тебя десять». Потом цифры сменились. Ни за что давали пять, десять – и даже двадцать пять оказалось ничем, когда началась реабилитация. Но реабилитация – через двадцать лет. А в середине 1937-го исчезли анекдоты. И вдруг всю Москву облетел диалог: «Как живете?» «Как в автобусе: одни сидят, другие трясутся». Это летало по столице как голубь мира, с оливковой веткой в зубах: «Как живете?» «Живем, живем, живем!»

Я оценил анекдот, как начало конца террора, дошедшего до безумия. Больше напугать нельзя, рождается мужество отчаяния, веселое мужество висельников. И впрямь, скоро Ежова сняли. Лаврентий Павлович Берия распустил несколько тысяч осужденных, в том числе моего приятеля Юру Лесскиса, осужденного по суду, с добросовестными показаниями свидетелей, слышавших его дерзкие слова. Лаврентию Павловичу плевать было на юридические формальности. Важно было, что Юра – мальчишка, студентишка, беспартийное ничто, даже не родственник делегата XVII съезда, вычеркнувшего фамилию Сталина при тайном голосовании. Зато Ольгу Григорьевну Шатуновскую не выпустили, несмотря на хлопоты

Микояна: она слышала, что Берия был двойным агентом и Киров послал из Тифлиса в Баку телеграмму: Берию расстрелять!

Анализируя свое поведение, я нахожу, что переход от робости к дерзости был вызван внутренним скачком, далеким от политики. Началось это в 15 или 16 лет; листая учебник тригонометрии, я обратил внимание на тангенсоиду, нырявшую из бесконечности в ничто и из ничто взлетающую вверх. Прodelать это с вышки в воду я никогда не решался, я не доверял своим рукам и ногам. Но другое дело – ум. Ум мой принимал формулу $n : \infty = 0$ как смертный приговор. Но приговор действителен только для конечных величин. И вот вопрос: конечен ли человек? Вроде бы да: бытие определяет сознание. Переменим бытие – и человек переменится. $4 : 2 = 2$, $n : \infty = 0$.

А вдруг точность наук – только практическая условность? И вселенная не началась 12 миллиардов лет тому назад? Додумать все это в мои 16 лет я не мог. И через несколько дней решил, что проблема слишком трудна для школьника, но я ее непременно буду решать и решу когда-нибудь. Сознание великой задачи, дремлющей во мне, стало частью моей дерзости. Я думаю, что всякое мужество связано с сознанием своей силы. Физической или нравственной или еще какой-то, но силы.

И вот прошло четыре года. Страна двигалась от одного показательного процесса к другому, а я от проблемы к проблеме. Одной из них было мое несовершенство. Оно мучило меня с детства. Мои родители были выходцы из Польши, неуверенно чувствовавшие себя в Москве. Никакого твердого образца взрослого перед моими глазами не было. Я должен был сам для себя все решить. Особенно обострился кризис, когда мама уехала в Киев, играть в тамошнем театре. Папа, заваленный растущей советской отчетностью, брал часть работы на дом и стучал до ночи костяшками счетов. Ничем он не мог мне помочь. Газеты были полны достижениями, а Галя, домашняя работница, плакала после каждого

письма с Украины. Потом она ушла на завод, там давали больше хлеба – на сушку сухарей для родных. А между тем в этот голодный быт врываются герои Толстого, Шекспира, Стендаля. Нам задали писать сочинение «Кем быть?», то есть какую профессию выбрать. А в моем уме этот вопрос преобразился, стал другим, приблизился к гамлетовскому: «быть или не быть», по какой дороге я смогу набрать впечатлений, из которых сложится моя личность. Пока ее нет. И я закончил школьное сочинение фразой, возмущившей учителя: «Я хочу быть самим собой». Это был первый шаг вон из сознания капли, льющейся вместе с массами.

И вдруг я вернулся к вопросу, вылезшему передо мной из учебника тригонометрии: где мое место во вселенной? Что я значу в мире, мучившем Тютчева (природа знать не знает о былом...), мучившем Толстого, готового застрелиться, но не согласного с признанием своей ограниченности; мучившей Достоевского в «Подполье»: «дважды два пять – тоже премиленькая иногда вещица...»

В двадцать лет я почувствовал рост силы своего ума и решил не отступать перед «арзамасским страхом» Толстого, решил штурмовать его «Записки сумасшедшего». Я понимал, что логическими выкладками нельзя создать внутренний противовес бесконечности пространства, времени и материи. Надо было бросить вызов собственной глубине и повторять этот вызов, пока глубина не откликнется и не раскроет своей бесконечности. Как – я не знал. Но вызов, наподобие дзэнского коана, я сформулировал и повторял его три месяца, вплоть до ослабленного подобия дзэнского сатори, озарения, на котором я остановился, наивно предполагая, что достиг цели.

Разумеется, таких слов, как коан и сатори, я не знал. Прочел впервые в статье Кестлера через двадцать лет. В это время мой путь вглубь себя уже определился, скорее в подобии бхакти, чем дзэн. Но дзэн дразнил и подталкивал меня, когда годы странствий кончились и наступил покой

созерцания. А 38–39 учебном году меня подталкивали парадоксы «Подполья». Кончив чтение Достоевского «Подпольем», я стал возвращаться от него то к Ивану Карамазову, то к Кириллову, то к Хромоножке...

В школе я остановился, признавшись самому себе, что «бунт» Ивана Карамазова понимаю, а «Легенду о великом инквизиторе» – нет, не могу понять и отложил всего Достоевского, как тангенсоиду. И вот теперь мне показалось, что я на пороге великого понимания, а предисловие к анализу «Подполья» разрасталось, отодвигало на задний план сравнение Достоевского с Толстым, становилось исповеданием веры в величайшего русского писателя (оно так и было озаглавлено: «Величайший русский писатель»)...

Руководитель семинара, Глаголев, напоминал мне, что писал о Достоевском Горький, Ленин. И я в ответ объяснял, что Горький и Ленин ошибались. Сегодня это банальность, но тогда – скандал. Работа была вынесена для обсуждения на кафедре и осуждена как антимарксистская. Я вышел с заседания кафедры, хлопнув дверью. Весной 1939 года это сошло мне с рук. Тогда разлилась усталость от Большого террора, и администрация ограничилась мерой кротости: установлением тайного надзора и тайным же приказом срезать при экзамене в аспирантуру.

Однако одновременно открылась другая дверь, на Олимп, до которого я мгновенно дорос, хлопнув дверью кафедры. До этого хлопка мое одиночество делили только импрессионисты, молчаливо висевшие на стенах пустых зал – почти без зрителей – в Музее новой западной живописи. Каждую неделю я приходил туда и проделывал обряд очищения, созерцая полотна Ренуара, Моне, Сислея, Марке, Писарро, Сезанна, Ван Гога, Пикассо (розового и голубого)... И на два часа я уходил от мерзости, разлитой в умах москвичей, от комсомольских собраний, навешивавших ярлыки «потеря бдительности» и «притупление

бдительности» в память родственников, исчезнувших за железными воротами ГПУ. Ярлыки незримо прилипли к спинам примерно трети студентов, и иногда по этим бубновым тузам стреляли новым ордером на арест. Эта угроза висела над каждым. И только небольшая группа преподавателей была ограждена незримым табу.

Впоследствии их называли «течением Лукача–Лифшица». Лукач, плохо владевший русским языком, в дискуссиях не участвовал, но Лифшиц и его ученики, начиная с 1934 г., вели свободную дискуссию с теми, кого стали называть вульгарными социологами. И по незримому распоряжению на три статьи Лифшица печаталась в ответ одна статья Нусинова, сторонника старой школы.

Секрет заключался в том, что к власти в Германии пришел Гитлер, и коммунистам пришлось искать союза со всеми противниками фашизма. Сталин понимал, что создание идеологии народного фронта (вроде того, который на короткое время победил в Испании), – не его ремесло, и он разрешил Лукачу, бежавшему от Гитлера, создать в Москве свою школу. К 1939 году Мавр уже сделал свое дело, и схоластика народности, разработанная Лифшицом, была советскому руководству ни к чему. Фадеев, оскорбленный пренебрежительным отношением к его творчеству, уже точил оружие для разгрома «течения». И разгром уже готовился, когда я вошел в число «теченцев».

Помню доклад Лифшица о народности, длившийся шесть часов. Лифшиц различал непосредственную народность Тараса Шевченко, народность Некрасова, порвавшего со своим классом, народность Пушкина и раннего Толстого, сохранивших дворянское сознание, но сочувствовавших народу... Но куда девять Тютчева? Лифшиц понимал, что философская лирика Тютчева народу непонятна, но когда-нибудь народ ее поймет, и тогда Тютчев станет народным. Уходя из большой аудитории в толпе студентов, Ефим Глухой, не понимавший Тютчева,

кричал, что теперь он перестал что бы то ни было понимать. И вероятно то же думали сотрудники идеологического отдела ЦК, но молчали – и заказывали брошюры попроще. В студенческих кругах эти наспех испеченные странички называли «изнародованием». По своей простоте, подобной мычанию, брошюрная народность мало отличалась от бывшей идеологии классовой борьбы и будущей идеологии русской национальной идеи.

Зимой 1939–40 гг. была организована еще одна дискуссия. На этот раз печатали три статьи противников «течения» и одну – ее сторонников. Среди сторонников были два блестящих лектора – Леонид Ефимович Пинский и Владимир Романович Гриб. Студенты с восторгом шли за ними. Лифшиц был уверен, что его идеи рано или поздно победят. Пинский ожидал репрессий, но не отказался от защиты своих позиций. «Нас называют течением, – сказал он (я запомнил эту фразу). – Но что противостоит течению? – болото». Студенты яростно аплодировали. Положение спас Кеменов, примыкавший к «течению» и руководивший Обществом культурной связи с заграницей. Он имел доступ к Молотову и убедил его, что разгромное постановление будет иметь нежелательные международные последствия. Видимо поэтому постановление не было опубликовано. Формально все остались при своих. Но магическая сила оставила Лифшица... Все это произошло через полгода после моего хлопка дверью кафедры и за несколько месяцев до войны.

На другой день после скандала на кафедре я подошел к Пинскому, преподававшему западную литературу на моем русском отделении, и попросил высказать свое мнение о моей курсовой работе. Пинский сразу прочел текст и передал его своему другу, Владимиру Романовичу Грибу (преподававшему западную литературу западникам). Остальное мне рассказала Лиля Лунгина в коридоре купейного вагона Москва – Феодосия, примерно в конце 70-х годов (мы оба ехали в Коктебель): Гриб

прочел текст ночью и в пять часов утра пришел с Поварской на Усачевку, просить Пинского подарить меня в ученики. Пинский согласился, и при следующей встрече со мной сказал, что работа понравилась и моим научным руководителем будет Гриб, с полузападной темой «Бальзак и Достоевский» Бальзак – это понятно, чтобы обсуждать у западников. Но почему Гриб, а не Пинский? Я не решился спросить¹.

Гриб пригласил к себе на Поварскую знакомиться. Там во дворе собралось несколько человек праздновать окончание учебного года. Гриб опаздывал и опаздывала аспирантка русской кафедры Сусанна Альтерман. Дважды кто-то спрашивал: где Сусанна? И кто-нибудь отвечал: Сусанна ждет старцев. Тогда все смеялись, а я хлопал ушами. Потом Пинский мне объяснил, что Сусанна и старцы – из Мандельштама. Наконец, все собрались, пришел Гриб, но заниматься со мной было поздно, и меня просто пригласили в ресторан вместе со всеми. Я оказался за столом между двумя богами студентов, Пинским и Грибом, единственным студентом в их кругу, и чувствовал себя Ганимедом, вознесенным на Олимп.

Потом, в следующем академическом году, начались встречи с Грибом, оборванные его болезнью и смертью. Очень ранней смертью, – в 32 года. В сущности, все «течение Лукача – Лифшица» было молодым, кроме самого Лукача. Разница между мной (мне было двадцать два) и Пинским, тридцатичетырехлетним доцентом, постепенно сглаживалась. Еще меньшим был разрыв в возрасте с аспирантом Ремой Янкелевичем, ярко одаренным юношей, на выступления которого я приходил. К сожалению, помню только, что его любимым поэтом был Осип Мандельштам. Рема погиб на войне, корректируя огонь батареи.

¹ Когда Лиля Лунгина наговаривала «Подстрочник», со времени нашего разговора в вагоне прошло 10 или 15 или 20 лет. Кое-что забылось и спуталось. Сохранилось сочувственное отношение к нам всем троим, но кто где учился, кто с кем был знаком и кто что кому передал – изложено неверно.

Последними его словами был смертельный приказ: «огонь по НП!» Этим упоминанием я отдаю последний долг юношам, не успевшим иначе оставить по себе память.

К счастью, о трех состоявшихся беседах с Владимиром Романовичем Грибом я могу сказать гораздо больше. Гриб не даром выбрал меня в ученики. У него был особый талант, не находивший себе применения. Платон назвал этот дар маевтикой, акушерством, помощью при рождении истины. Сегодня можно было бы назвать этот дар навигатором, прибором, подсказывающим водителю, где и как свернуть. Тему «Бальзак и Достоевский» мы ни разу не затрагивали. Гриб задавал мне вопросы, касавшиеся Достоевского, и дальше только слушал, поразительно чутко слушал, одним словом или жестом показывая, что я соскользнул на поверхность, потерял глубину. И я мгновенно понимал, что он прав и тут же находил лучший ход мысли.

Два часа мы не выходили из глубины. Оказавшись на улице, я еще чувствовал себя озаренным, но быстро глупел. Прошло много лет, пока я встретил Зинаиду Александровну и мы научились быть друг для друга навигаторами. Других подобных встреч у меня не было. Пинский поразительно глубоко вчитывался в текст и потом ясно раскрывал его внутреннюю структуру, но в беседе он был захвачен собственной страстной мыслью. Сократовского дара у него не было. Смерть Гриба была огромной потерей для островка живой мысли, уцелевшей после террора.

Между тем, надвигалась война. 16-го октября 1941 г., когда последний, вяземский заслон был сломлен, Пинский мне позвонил, что уходит в ополчение. Нельзя было сдавать Москву без боя. Я ответил, что иду тоже. В одном отделении, под командой сержанта Сорокина, собрались Пинский, я и еще два ученика Пинского. Через месяц Пинского демобилизовали. Назло Геббельсу, надо было создать видимость работы Московского университета, объявленного разрушенным. Собрали группу

девушек–студенток, и Пинский их обучал и руководил ими на разных чрезвычайных работах. Возвращаясь из эвакогоспиталя на фронт, я побывал у него и несколько часов рассказывал, как на самом деле выглядит война.

Остается теперь рассказать, как я прошел через опыт войны. Но об этом уже многое было написано и напечатано в «Записках гадкого утенка». Попробую повернуть военный опыт с новой стороны, сквозь пушкинский «Гимн чуме». Я много раз вспоминал его тогда наизусть:

Есть упоение в бою
 И бездны мрачной на краю,
 И в разъяренном океане,
 Среди грозных волн и бурной тьмы,
 И в аравийском урагане,
 И в дуновении чумы.
 Все, все, что гибелью грозит
 Для сердца смертного таит
 Незъяснимы наслажденья –
 Бессмертья, может быть, залог!
 И счастлив тот, кто среди волненья
 Их обретать и ведать мог...

Это всё правда, но неполная правда. В устном повторе я незаметно для самого себя заменил «упоение» другим словом – «вдохновение». Почему я это сделал? Потому что опыт войны подсказал, что упоение слишком часто ведет к хмелю. В бою нужно именно вдохновенье, когда сердечный жар сливается с напряженной работой мысли. Покажу это на ничтожном примере, к которому я уже несколько раз возвращался и каждый раз находил в нем новые оттенки.

В октябре 1943 г. наша дивизия прорывала линию Вотана. Удалось это только с третьей попытки, когда исходный рубеж придвинулся к

немецкой укрепленной полосе почти вплотную. На этот раз прошли все три линии обороны, в том числе третью, недостроенную. Немцы зацепились за хаты большого села Калиновка, дававшие укрытие от прицельного огня артиллерии. Настроение на нашей стороне было праздничное. И когда пехота поднялась из овражка, где скапливалась, я не удержался и побежал вместе со стрелками. У меня на глазах двое солдат были убиты. Но «всё, всё, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья», вызывает чувство полета над страхом. Немцы с околицы отошли вглубь села. «Трофейные солдаты», как мы их называли, жители Донбасса, наспех мобилизованные и полуобученные, тотчас рассыпались по хатам. Я тоже заглянул в одну или две хаты, но там ничего интересного не было – и вернулся на исходный рубеж, к артиллерийским наблюдателям, с которыми был шапочно знаком.

Вдруг раздались выстрелы и стрелки побежали обратно. Артиллерийские офицеры вскочили и стали их удерживать и укладывать в прикрытие. Я им помогал. Потом показалась немецкая цепь. Артиллеристы немедленно повернулись к своим телефонам, и я остался один. Для авторитетности я отпустил на перевязку мальчика, слегка поцарапанного и сильно испуганного, отобрал у него автомат и время от времени постреливал поверх голов, когда бежала целая группа.

Я хорошо знал огневые средства дивизии и не сомневался, что немцев остановят. Но наблюдателям легче работать, когда они видят перед собой прикрытие. Хотя на самом деле они, артиллеристы, прикрывали своим огнем не уверенных в себе стрелков. И я немного прибавлял им уверенности, расхаживая по цепи и явно не собираясь залечь, когда свистнет пуля. Немцы вскоре залегли, и в наступившем затишье я переговорил со всем своим маленьким войском (человек 20–25). Оказалось, что это толпа, сложившаяся из разных смешавшихся подразделений, и патронов у них не густо. Что дальше делать, я не знал.

Но тут подбежал связной, и увидев издали меня, торчавшего на правом фланге, ближнем к НП командира дивизии, произвел меня мысленно в офицеры и в командира всей цепи, сложившийся по линии НП артиллеристов. Он назвал меня лейтенантом и передал: переходить в наступление. Надо было подумать, как сдвинуть с места всю линию.

Телефонной связи или связных у меня не было. Оставалось показать пример. Я скомандовал «вперед», с некоторыми ободряющими словами, а пробежав метров пятьдесят – ложись! Оглянулся – цепь двинулась. Когда она сравнялась со мной, я повторил тот же маневр. Но входить ли в село? Опять повторится то, что было утром, и немцы нас снова вышибут. И я решил остановить движение в 100–150 м. от околицы. Будем ждать в полутьме кухонь. Немцы ночью не воюют. Около кухонь лейтенанты найдут своих солдат, солдаты – своих лейтенантов, а там и брички с патронами подойдут. И на рассвете, опередив немцев, бросимся вперед, с пальбой, с криками «ура!»... Там видно будет, что получится. Может быть, у немцев вообще был приказ отступить...

Мой план нарушил майор Токушев, первый зам. начальника штаба дивизии. Он прибежал, сбросив для скорости шинель, в мундире, блестя орденами. Увидев меня, с удивлением назвал меня по фамилии и спросил, почему я остановил наступление. Я объяснил. Токушев внимательно меня выслушал, вздохнул и сказал: ничего не поделаешь, сообщили в Москву, что село взято. Я почувствовал взрыв негодования: значит, надо было повторить ту бессмыслицу, которая была в полдень. Но делать нечего. «Вперед, ура!» – и через пять минут мы с Токушевым остались одни. «Ну вот, воюйте теперь, т. майор, а я пойду собирать материал для газеты». И до сего дня вспоминаю эту фразу с чувством недовольства собой.

Я в то время еще оставался рядовым, прикомандированным к редакции из-за хромоты, сохранявшейся полгода после выхода из эвакогоспиталя. Прошло полгода, штатный литсотрудник погиб 9 или 10

января 1943 г., редактор обещал оформить меня на эту должность и обманул. Он меня не взлюбил, но не мог от меня отделаться, и я делал то, что хотел. Мне удалось выстроить пространство свободы на передовых позициях, в зоне действительного артиллерийского огня и ружейно-пулеметного огня, куда редактор никогда не совался, где я никому не подчинялся и писал то, что мне казалось нужным, а в редакцию приходил раз в две недели помыться в бане и выслушивать «ценные указания».

Весной 1944-го, когда отношения в редакции очередной раз напряглись, я зашел в политотдел и подал рапорт с просьбой направить комсоргом стрелкового батальона. Вакансии там всегда были: более четырех месяцев комсорги не оставались в строю. Через полчаса я получил назначение, через два месяца звание младшего лейтенанта и еще через два месяца ранение, не причинившее большого вреда и открывшее мне вакансию штатного сотрудника дивизионной газеты (занятие, бывшее мне больше по сердцу, чем обязанности комсорга и парторга).

Однако вернемся в тот октябрьский вечер, когда я простился с Токушевым. Утром произошло все, что я предвидел, Токушев пытался остановить бегство и был убит. Мне до сих пор совестно, что я не предложил пойти от него к командиру дивизии и объяснить, что один Токушев не сделает трофейных солдат закаленными бойцами и надо придумать что-то еще.

В эту ночь, однако, Токушев был жив, а я – доволен собой. Двинувшись по полю вдоль села, я натолкнулся на КП одного из батальонов, где всех знал, и сел с офицерами ужинать.

–Почему, – спросил я их, – вы сидите в поле, а не переносите КП в село?

–Там немцы!

–Ничего подобного, – возразил я. – Мы только что взяли село. Немцы отошли.

За час до этого я понимал, что немцы, возможно, отошли только до середины села, и если у них нет приказа отступить, то на рассвете они опять атакуют трофейных солдат и опять вышибут (что и случилось; Калиновку брали шесть раз и взяли только тогда, когда командир дивизии нашел нестандартный ход: бросил в стрелковую цепь пушки). Но меня уже захватил хмель победы. И волна этого хмеля заразила моих собеседников. Один из офицеров взял с собой двух связистов, и мы пошли выбирать место для нового КП.

В селе царил мертвая тишина. Капитан, пошедший на авантюру без размышлений, несколько протрезвел и спросил, сколько у меня патронов. «Ни одного, – ответил я, – пустой диск». «У меня только пистолет», – сказал он. – А у вас?» – спросил он у связистов. «Вы же знаете, – ответил один из них. – Таская катушки, мы патронов не берем. Только в винтовке – четыре штуки». «Итак, у нас шестнадцать патронов на четырех, по четыре на брата», – подсчитал капитан. Подумав немного, он добавил: «если наткнемся на немцев, я крикну вперед, за мной – и мы побежим назад».

Не буду подробно описывать дальнейшего. Мы наткнулись сперва на передний край соседнего полка; весь этой край, человек сорок, вместе со своим младшим лейтенантом, собрался у большого костра, не выставив никакой охраны. Потом на нас наткнулась немецкая разведка. Капитан скомандовал «вперед» и побежал – но на запад. Я привык ориентироваться по звездам и пытался остановить его, но не мог догнать, остановился, рядом со мной оказался один из связистов, легко раненный в ногу осколком гранаты. Я велел раненому идти за мной, и мы благополучно вышли. Через несколько дней увидел резвоногого капитана и спросил его, где второй связист. Он не знал. Пропал без вести...

Теперь умножим этот эпизод на миллион (или несколько миллионов) и получим широкую картину перехода от вдохновения к упоению, от упоения к хмелю и от хмеля – к похмелью. Года два тому назад я, как

ветеран Сталинградской битвы, получил циркулярное письмо, где разъяснялось, как немцы оказались на Волге. Маршал Шапошников, тогдашний начальник генерального штаба, весной 1942 г. предлагал перейти к стратегической обороне. Всеми рубцами на моей шкуре я могу подтвердить, что он был прав. С февраля засияло солнце, и немецкая авиация царила в воздухе. Наступать мы могли только ночью, но это годилось нам, добровольцам, не расположенным сдаваться в плен. Остальные были ненадежны. А дневные бои становились мясорубкой. Единогласный приговор раненых, с которыми я говорил в госпитале: не война, а одно убийство. Шапошников предлагал это убийство прекратить, но Сталин снял его с поста и приказывал: наступать, наступать, наступать. Катастрофа на северо-западе, когда Власов попал в плен, не отрезвила Сталина, он продолжал свое, до окружения и разгрома большой группировки под Харьковом и выхода немцев на оперативной простор.

И тут хмель ударил в голову Гитлеру. Он отправил группу армий Клейста на Кавказ, а чудовищно растянувшийся восточный фронт укомплектовал армиями своих союзников. Пока немцы шли вперед, румыны и итальянцы тоже шли вперед, заполняя пустое пространство. А когда немцы уперлись в Волгу и застряли в городских боях, румыны тоже остановились и не беспокоили советское командование, дав ему подходящее время и подходящую обстановку для подготовки контрудара. И на подходящем материале советские войска стали учиться прорывать фронт. Потом эта идея была широко тиражирована в армейской прессе: «немцы нас научат воевать, а мы их отучим». Я на себе почувствовал этот перелом. И хотя ни в какой школе не учился, сносно провел бой под Калиновкой.

Теперь попробуем еще шире обобщить этот опыт. Всякая победа несет в себе опасность перехода от вдохновения к упоению, от упоения к хмелю и к похмелью. И тотчас победа становится пирровой,

разрушительной для победителя. А поражение (бывает и так) несет в себе возможность отбросить устарелые приемы, реформировать устаревшие учреждения, обновиться, возродиться... «Разбитые армии хорошо учатся». И разбитые державы также становятся сильнее. Поражение в Крымской войне 1854–56 гг. было благотворно для России. Япония и Германия окунулись в разгром – и воскресли. А Россия, к сожалению, не удержалась на мудрости 1943 г. и уже в 1944 упивалась своими победами, действительными и мнимыми: «русские прусских всегда бивали, наши войска в Берлине бивали»... В итоге, хмель и спесь до сих пор бродят в русских жилах.

Весь путь Сталина, после установления его единодержавия, – ряд Пирровых побед. Победа над крестьянством смертельно ранила сельское хозяйство. Победа над армией лишила генералов политической воли – но заодно и военных талантов. Все полководцы, выдвинувшиеся в 1941–45 гг., были избраны не Сталиным. И оружие, победившее на войне, было спроектировано в сталинских тюрьмах. Тоталитарные режимы ни в чем не знают меру. Они борются за всемирную власть, создают рыхлые империи и сеют семена развала. Они втягивают в факторы войны страны, народы, отрасли культуры, чуждые войне – и вдруг решающие исход войны. Когда немцы водрузили свой флаг на Эльбрусе, Эйнштейн пошел к Рузвельту и убедил его создать атомную бомбу. Бомба в конце концов досталась Японии, и самураи вынуждены были капитулировать перед группой физиков–эмигрантов во главе с Оппенгеймером. И только готовность Сталина, не считаясь ни с какими потерями, обескровив Россию, выйти на Эльбу, позволила сокрушить Гитлера без атомного оружия. Я уже писал, что Гитлер – не Хирохито, он не сдался бы от двух бомб, и Германия, а может быть и вся Европа, покрылась бы смертоносным пеплом.

Попробуем теперь обобщить, к чему ведет хмель победы. Этот список, к сожалению, открыт. Атомная смерть – фактор, которого не знали

в XIX в., и мы, наверное, не все знаем. Но перечислим классический ряд бедствий.

Первая функция хмеля – та, которую я лично пережил, неудержимая тяга к авантюрам.

Вторая функция – порывы жестокости. Атакующая русская пехота, ворвавшись в окопы противника, редко брала в плен. В первые минуты – убивала. Потом, если немец прикинулся мертвым и через полчаса поднял голову, он спасен. Это бытовой случай. Хуже другой, обдуманно холодный. Гарнизон Сталинграда, сдавшийся в плен, гнали форсированным маршем и отстававших пристреливали. Прекратили убийство корреспонденты газет, доложившие об этом командованию.

Третья функция – превращение женщин в военный трофей. Приведу только один случай. Подполковник Товмасян, начальник политотдела 61-й дивизии, завел партийное дело на командующего артиллерией (фамилию забыл), руководившего коллективным изнасилованием. Политотдел армии приказал дело прекратить, документы сжечь, а полковника, командующего артиллерией, тем же чином перевели в другую дивизию. Товмасян был белой вороной. При Хрущеве он стал секретарем ЦК Армении и послом во Вьетнаме. Поведение политотдела армии было обыденным фактом. Число насилий подсчитано немцами. Шестизначная цифра вошла в историю.

Из Берлина нас вытурили в Судеты, и я, бродя по Судетским холмам, вспоминал «Торжество победителей» Шиллера и пытался свести концы с концами. На уровне героев Гомера все было в порядке. Но куда исчезли три тысячелетия? И что осталось от идеологии, с которой я начал войну?

Через пару недель массовый хмель улегся. Заработал юридический механизм. За немку давали пять лет, за чешку десять. Но как стереть след разгула? Глядя на разглаженную униформу с белыми подворотничками, я в иные мгновения чувствовал под ними шкуру носорога (из пьесы Ионеско). Чувство отвращения прочно смешалось с чувством победы. Это

прорвалось в моих заявлениях о демобилизации и определило мою судьбу на ближайшие десять лет. Опускаю эти годы и перейду к самому значительному в последующей мирной жизни.

За свои дерзкие заявления я был исключен из партии. Это загнало меня в тупик. К любимым моим занятиям с волчьим билетом не допускали. Я терял себя, апеллировал, с внутренним разладом писал необходимые бумаги и ждал ареста. Когда за мной пришли, я почти обрадовался: межеумочное положение кончилось, лагерь – одна из «разрешенных орбит» электрона в модели атома, одно из обычных мест для интеллигента сталинских времен. Лагерь дал мне белые ночи, морозную тьму, в которую два меломана (одним из них был я) ходили между бараками, слушая пятую или шестую симфонию Чайковского (музыка хорошо проходила через рупора в крепкие морозы)... И, наконец, я нашел дружеский круг, где царила свобода слова, невысказанная на воле. В этом кругу я впервые осознал, что стремление быть первым – болезнь, и одним резким рывком выбрал себе второе место. Моим образом истины стал диалог.

Выйдя по амнистии 1953 г., я не получил московской прописки и поехал работать учителем в станицу Шкуринскую, Краснодарского края. Я узнал ее страшную историю в начале тридцатых и научился просто излагать свои мысли, ту часть моих мыслей, которую ученики могли вместить. Наконец, после XX съезда пришла реабилитация, и я вернулся в Москву.

Здесь уже собрался весь лагерный круг, и продолжились лагерные разговоры. И здесь я надеялся встретить то, чего не хватало всю жизнь. В конце лагерного срока я встретил девушку, из которой мое воображение, искавшее идеала, создало свой идеал. Этот идеал то воплощался при коротких встречах, то уходил в письма. Но увидев лагерный призрак в обычном кружке друзей, я почувствовал, что мне там скучно. И на обратном пути написал прощальное письмо. Остался только след в сердце,

ни к кому не относившийся, тлеющий во мне белый огонь, ждавший, кого он вдруг зажжет и вспыхнет снова во мне. На этом кончились мои годы странствий.

В Москве ко мне пришла большая любовь. Та самая, которую я терпеливо ждал, решительно отказавшись размениваться на мелочи. Задним числом я понял, что мне для соединения с женщиной нужен ее духовный мир, и соединяясь со всем этим миром, я признаю женщину королевой этого мира. В августе 1956 года это произошло почти против моей воли.

Незадолго до всех событий я узнал, что семья Мелетинского, казавшаяся идеальной, внутренне разрушена, что супругов мучает скелет в шкафу, к которому и прикоснуться нельзя, и освободиться невозможно. И Мелетинский уезжает в отпуск один, чтобы отдохнуть от своей жены. Я вспоминаю развод своих родителей – что тогда папа говорил о маме! – а потом писал ей дружеские письма...

Уезжая один, Мелетинский сознавал, что оставляет одну, в пустой квартире больную женщину, у которой всякий подступ к скелету рождал новую каверну, и попросил меня чаще навещать ее. Ира с неожиданной горячностью поддержала его. Потом я узнал, что она боялась тени свекрови в углах. Я обещал приходить день через день и первую неделю строго это выполнял, во вторую стал приходить каждый день, а в третью просыпался в пять утра и думал, когда вернется мой друг, чтобы объясниться с ним.

В эти годы марксизм в нашем кругу оставался отдельными клочьями, новое, религиозное мирозерцание еще не сложилось, и серебряный век занял пустое место. Ира, хранившая в сердце и в блокнотах тысячи строк, вышедших из запрета и забвения, была воплощением поэзии в наш обесцвеченный век. Обычно она читала сдержанно, как на лекции, но потребность высказаться, – может быть в последние месяцы жизни, –

захватила ее полностью, и она читала, словно собственные признания, стихи Ахматовой:

Мне зрительницей быть не удавалось
 И я всегда нечаянно вторгалась
 В запретнейшие зоны естества.
 Целительница нежного недуга.
 Чужих мужей вернейшая подруга
 И многих безутешная вдова.

.....

Переведите это в прозу – и может оттолкнуть. Но в стихах Ахматовой я чувствую правду. И Цветаева меня чарует. За роковые три недели Ира ни разу не подкрасила посиневших губ, выглядела скверно, одета была в балахоне, в котором красила морилкой мебель, но в чтении она преображалась. Но я нетерпеливо ждал своего друга, чтобы снять с него груз, ставший моим счастьем.

Дождаться мне не удалось. Книга – антология лирики 20-х годов – выпала из рук и вспомнился стих Данте, в 5-й песни Ада: «больше мы в тот день не читали». В музыке это пытался передать Чайковский.

Потом был ад ломавшихся жизненных связей, сплетни чертей, чистилище отношений в новой, не сложившейся семье, и только к весне все устроилось с жилплощадью в трех разных точках: Володя в общежитии, Лёдик в подростковом сумбуре комнатки, доставшейся ему по обмену, и мы оставались с Ирой в моей наследственной конуре. В последний год этого счастья Ира говорила мне, что не будь она больна, я не решился бы вторгаться в чужую жизнь, и она не жалеет, что рано умрет: того, что у нас, она искала всю жизнь.

Но все висело на волоске. Мы оба много в жизни рисковали и любили риск. Мы оба согласились на предложенную ей операцию –

резекцию части легкого, не принимавшей медикаментов. Операция была сделана, но какой-то тромб попал в сердце.

В день похорон ко мне пришло видение: Ира, в языках пламени, как в ее стихах:

И бродить, не спеша, она будет в аду,
Как в цветущем пламенем старом саду.

Что-то она мне гневно говорила, но я не слышал. Тогда я открыл глаза и подумал, от чего она плакала. Потом снова закрыл глаза, увидел ее и сказал: я люблю Лёдика. Видение улыбнулось мне и исчезло. Можете мне не поверить, но я в одно мгновение смахнул все подростковые конфликты и полюбил мальчика.

Меня больше беспокоил старший (во «Втором» он смешан с младшим). У Володи я чувствовал суицидальные порывы. За две недели до нового года я стал упражняться в том, что придумал: сказать «С Новым годом, с новым счастьем» и не заплакать. Накануне Нового года мне это удалось, и в Новый год я все сыграл, как хороший артист. По лицам мальчиков я понял, что мой замысел совершенно удался. Они чокнулись, как в обряде благословения жизни.

Вернувшись в свою конуру, я заснул, и мне приснилось, что галлюцинации, мучившие меня, исчезли. Я перестал чувствовать себя разрубленным вдоль позвоночника и видеть свои кишки, волочащиеся по тротуару. Во сне кишки отсохли и отпали и я исцелился. Я стал внешне здоров, только что-то во мне ныло и ныло – наверное, навсегда. Это так и могло быть, но судьба снова повела меня неожиданными зигзагами.

В кругу, в котором мы жили, поэзия была священным писанием, и поэты – святыми. Травля Пастернака была для нас кощунством. И мы с Ирой решили попробовать, нельзя ли свергнуть эту кощунственную власть. С помощью Володи мы связались с одной из групп, искавших пути к прямому действию. Я объяснил ребятам, что надо дождаться каких-то

народных волнений и знать, что людям сказать, какие идеи могут повести за собой. А пока – обсуждать сами эти идеи. Но состав кружка был слабый, дискуссии выходили неинтересными. Время от времени выпирали самолюбие, надежды на политическую карьеру. Я хорошо помнил «Бесы» и приглядывался к росткам бесовщины. Впоследствии эта мысль была выражена в заглавии книги П.Г.Григоренко: «В подполье можно встретить только крыс». Может быть, не только крыс, но крысы там водятся, и лучше действовать открыто.

Я уже шел к этому, когда Лёдик, окончив школу и рыская по Москве в поисках интересной жизни, натолкнулся на кружок в квартире Алика Гинзбурга (будущего правозащитника). Кружок этот, или вернее широкий и постоянно расширяющийся круг увлек Лёдика, и он посоветовал мне пойти туда. Познакомившись с Аликом, я сказал себе: яйца курицу учат. Молодое поколение свободно от страха и находит новые пути. Я буду помогать Алику искать для его «Синтаксиса» новые стихи, не пробившиеся через журнальную перестраховку.

Вскоре в «гинзбургятнике» оказалась Александра Исаевна Гулыга, переводчица, сохранившая в обиходе детское прозвище «Муха». Мы были шапочно знакомы по открытому дому Лунгиных. Сидевшая там в уголке Муха оживилась среди молодежи и предложила мне вместе поехать на станцию Отдых записать несколько стихотворений у больной женщины, с которой она дружила. Я сразу согласился и в воскресенье заехал в Красково к Мухе, потом вместе с ней на дачу Миркиных, километрах в двух от станции Отдых. Там уже сидело трое женщин, ждавшие чтения стихов. И сразу меня потрясло стихотворение «Бог кричал»:

Бог кричал. В воздухе плыли
Звуки страшнее, чем в тяжелом сне.
Бога ударили по тонкой жиле,

По руке или даже по глазу – по мне.

.....

Он выл с искаженным от боли ликом,

В муке смертельной сник.

Где нам расслышать за нашим криком

Бога живого крик?

Он всемогущ. Он болезнь оборет,

Вызволит из огня

Душу мою. Или, взыв от боли,

Он отсечет меня.

Пусть, лишь бы сам,

Лишь бы смысл вселенной

Бредя, не сник в жару,

Нет, никогда не умрет нетленный.

Я

за него

умру.

Никогда никакое стихотворение меня так не потрясло. Я требовал читать еще, еще. Я никого не дал накормить. Чтение длилось до двенадцати часов ночи. Стихи были неровные, иногда шероховатые, но следы духовного опыта поражали меня и не давали думать об обеде или ужине. Моя воля всех покоряла, и все разъехались голодными. Но во мне жило чудо, и оно все оправдывало. Сумею ли я помочь чуду, стать критиком–другом, в чем-то повторить опыт Гриба со мной? Вот мысль, рождавшаяся во мне.

Через некоторое время Зина дала мне прочесть ее поэму «Таня». Я прочел и сказал, что там есть два прекрасных лирических монолога, а все остальное не годится. Зина подумала – и согласилась. Так шли наши

занятия маевтикой. Они все больше и больше сближали нас, и я стал думать, что в конце концов, через год или два, могут совсем сблизить.

Но сближение произошло быстрее, чем я ожидал. Первого января мы шли по Сокольникам, на день рождения Лены, дочери Мухи. Присели на скамейку отдохнуть, и после какого-то стихотворения между нами мелькнула волна или искра. Пролетела и исчезла. Но в моем опыте это много значило. Я посмотрел на Зину; она даже не обернулась. Я тоже решил не облекать бессловесную волну в слова. Пусть поживет с чувством тайно совершившегося обручения. Впрочем, дома я написал «Пух одуванчика» – рассуждения о роли нежности в очеловечении обезьяны, своего рода свидетельство о нежности.

Через месяц Зина прочла вслух сказку «Фея Перели», где фея обсуждает с Паном, может ли она выйти замуж за смертного, Пан ее отговаривал, но на последних страницах смертный все-таки нашелся, и мы поцеловались. Через две недели сыграли скромную свадьбу, с одной бутылкой шампанского на восьмерых.

На утро Зина прочла мне поэму Гумилева «Гондла», очень неровную, но с несколькими прекрасными стихами:

Все вы, сильны, красивы и прямы
 За горбатым пойдете, за мной,
 Чтобы строить высокие храмы
 Над грозящей очам крутизной...

Занятия маевтикой продолжались теперь в домашнем кругу, на слух, когда стихотворение только рождалось. Угол сердца, в котором жила тень Иры, оставался для меня священным (как и карточка на столе), но постепенно разрасталось другое пространство. Ира была язычницей, и через ее язычество и многое другое страсть выстраивала мосты. А Зинин духовный дар был скорее близок к мистическим ветвям мировых религий, находившим свое выражение в поэзии, обходя схоластические

конструкции. Недаром она впоследствии переводила Тагора, Ибн ал Фарида, Ибн Араби и Рильке.

Занятия маевтикой постепенно развивало во мне самом новое чувство формы, в которой лирический всплеск приобретал логическую ясность мысли. Вчитываясь в Зинин текст, вылавливая в нем приблизительные слова, чтобы заменить их более точными, я входил в ритм, не свойственный статьям, и весной 1962 г. рождаются куски какой-то новой – по крайней мере новой для меня самого – прозы – то, что можно назвать эссе. За первым эссе последовал второй, третий – и то, что я пишу сейчас, через 48 лет, – тоже эссе.

С этих пор началась новая маевтика, в которой поэт и критик, родственник поэту, водитель и навигатор, Гриб и его ученик постоянно меняются местами. Я на слух отличаю слова и строки, которые требуют доработки в стихотворении, а Зина на слух принимает, с какими-то поправками, мои эссе, или отвергает их, и тогда я подхожу к теме с какого-то нового конца.

Так жизнь привела меня к творческому созерцанию, рождающему подступы к истине в нашем сумбурном мире.